

Как я жаждал попасть в университет и начать учиться! Пожалуй, из всего, что было в моей жалкой жизни, так же сильно я надеялся только на Патрика. Филфак я полюбил сразу, после дня открытых дверей в середине весны. Он очень походил на Храм Эногора из «Странников», который мне снился. Изящное здание времен серебряного века с колоннами, с огромным залом с прозрачным потолком и фонтаном, с просторными аудиториями, в которых учили мудрости и древним искусствам, — ну разве можно было туда не стремиться?

В университете меня приняли со скепсисом. Было в моей группе несколько человек, которые как будто бы поступили, но не спешили приходить на лекции. Никаких предпосылок к их появлению в дальнейшем не присутствовало. И я, пропуская лекции до середины октября, был причислен к этой группе «мертвых душ». Пришлось учиться активно. Особо дотошным преподавателям я давал ксерокопии моей справки о нетрудоспособности. В целом упущенное наверстало быстро. По сравнению с математическим анализом и «Паскалем» (ублюдочным языком программирования с кучей скобок) в МИРЭА филологические премудрости воспринимались как игра. Разве что на внутрисеместровой контрольной работе по латыни меня вдруг охватил истерический смех, когда я почувствовал себя имбецилом, не будучи в силах ответить ни на один вопрос, но ведь и латынь я в итоге сдал, благо сам язык (шибко сложный) на зачете знать не было нужно — требовалось лишь рассказать двадцать-трид-

цать изречений мудрых древних римлян, а это сплошное удовольствие. *Sive habes quid, sive nihil habes, scribe tamen aliquid.*

Одна на редкость дотошная преподавательница вошла в пятерку самых мудрых людей, каких я когда-либо встречал. Преподавала она фонологию — один из разделов сложной и бесполезной науки под названием «современный русский язык». Русский язык, изучаемый на филфаке, давно не был современным, однако это никого не смущало: филология — наука предельно консервативная. Странно это осознавать, но на филфаке, после многих лет школьных унижений, я стал отличником. Начал с фонологии, закончил литературоведением, — и все казалось игрой.

И все бы хорошо, да только мне было в те дни довольно паршиво. Организм еще не оправился от мононуклеоза, и слабость меня донимала. Когда слабость прошла, на меня обрушилось мое давнее проклятие: стоматит. Стоматит — это маленькие язвочки во рту, которые возникают непонятно отчего и проходят неведомо когда. Они болят не хуже, чем гниющие зубы. Поглощать пищу, если во рту есть хоть одна такая язва, достаточно сложно, а если их две и больше, то процесс питания превращается в инквизицию. Я, сука, знаю, откуда у меня стоматит. Меня им заразил пидор-стоматолог в клинике, где мне пытались исправить кривой прикус. Прикус-то у меня еще какой кривой, и столь же набекрень были мозги у врача. Он лазил мне в рот руками в драных резиновых перчатках. Хер знает, в чьей еще пасти (а может, заднице) эти перчатки побы-

вали. Я б завопил: «Уберите это говно от моего рта!!!», но тогда я учился во втором классе, у поехавшей училки, и боялся буквально всего. И вот после этого у меня стоматит. А лечить его не умеют. Время от времени он проходил, а иногда брался за дело основательно.

После мононуклеоза иммунитет ослаб, и стоматит взялся за меня как никогда прежде. Я не мог спать. Перед сном нужно пару раз сглотнуть. А я не мог глотать. Можно было бы сплунуть, но я и сплунуть не мог. Адская боль, как будто мои щеки, язык и горло режут лезвием бритвы, не давала это сделать. И конечно, я не мог есть. Я очень хотел есть. Меня скручивало от голода. Я еле ходил. Но каждый глоток доставлял такое страдание, что я проклинал весь белый свет. И вот в эти окаянные дни тот паренек, мой одноклассник, которому я на деле был глубоко безразличен, решил вдруг наладить со мной «дружбу». Я с самого начал увидел, что нам не по пути. Он обожал футбол и журналистику, я же всю жизнь считаю, что футбол — это срань господня, а журналистика и того хуже. Но одноклассник со мной общался. И я вынужден был отвечать на его попытки. Он еще подшучивал надо мной, когда видел, что я хаваю одни питьевые йогурты. «Перешел на жидкую пищу», — подшучивал он. А мне и вправду казалось, что я подыхаю.

В общем, этот тип меня кинул через пару месяцев, перестал отвечать на звонки и сообщения и из университета отчислился. Все мои старания соблюсти правила приличия с окровавленным ртом оказались напрасными. С тем же успехом я мог с самого начала послать его лесом. Не зря я не доверяю людям, навязывающимся в друзья.

* * *

После одного «друга» появился второй. Этот был поэт и музыкант: на гитаре играл. Он любил бухнуть, и я полюбил это дело вместе с ним. Бухали мы за гаражами в соседних с филфаком двориках. За гаражами этими все срали, и мы, упиваясь собственной ничтожностью и маргинальностью, называли это место Сральня. Этот парень был панком, он заставил вспомнить «школьные годы чудесные». С ним я упивался портвейном с кока-колой сверх всякой нормы, и у меня несколько раз начинался алкогольный психоз. Когда я ехал домой после очередной попойки, мне казалось, что современная обстановка — это галлюцинация, а сам я в XIX веке, и за мной едут гусары во главе с поручиком Ржевским. Видение было столь сильным и давящим, что я звонил этому своему «другу» и просил внушить мне, что никаких гусаров нет. Тот решил, что я совсем больной, и плюнул на меня. Не мне его порицать.

Познакомился я и с другими филфаковскими парнями. Один, как и слившийся футболист, учился в моей группе. Он был самой настоящей Игрушкой Богов. Таких людей Боги создают, чтобы показать все, к чему только люди могут стремиться. Он был как витрина Жизни. У него имелось все, о чем только можно мечтать: здоровье, сила, красота, богатство, таланты. Я понял это слишком поздно и долгие годы пытался наладить с ним отношения. С тем же успехом я мог дружить с собственным негативом на фотопленке. Впрочем, к нему все тянулись, заискивали перед ним; восторженные парни и девчонки окружали его, словно Диониса (хотя Дионис был дрыщом и постоянно умирал, а у этого фигура была как у Геракла). Этот удивительный человек излучал энергию жизни, и все хотели купаться в ней рядом с ним и забыть о *бездне*.

Этот парень сводил меня на заброшенный небоскреб на окраине Москвы, куда как раз забрались другие ребята с филологического факультета. Там я с ними всеми перезнакомился. Многие, не в пример предыдущим, стали моими хорошими товарищами. Сближаться со мной дальше определенной границы они не спешили, но это-то и хорошо. Дружба есть ответственность, и лучше сразу от этой ответственности отказаться, чем взять ее на себя, а потом предать.

* * *

От Патрика ближе к концу осени стали приходиться сигналы бедствия. Внутреннее распутство, которое проснулось во мне точно так же, как и в любом мужике, внезапно оказавшемся среди тысяч баб, я вскоре после болезни переборол и ни к кому не клеился. Я дал клятву верности Патрику, и его фотография «даже» стояла на заставке моего сотового телефона. Как-то телки из группы у меня этот телефон отняли и долго в нем рылись, ибо не верили, что у меня, такого жалкого, «есть девушка».

Патрик писал в те дни, что ему плохо и он ищет смерти. Мне была непонятна его интенция, поскольку я считал, будто наша с ним жизнь только начинается. В те дни я написал лучшие свои «произведения»: оставил романтику и обратился к малым жанрам, исторгнув в свет целую плеяду скверных новеллок. Они были не более чем эпигонством по отношению к рассказам Патрика, но его высоко оценили мои духовно богатые одноклассники. По сравнению со «Странниками» это была новая ступень графомании, уже напоминавшая литературу, пусть и плохую.

Я не понимал Патрика, и в каждом моем письме прослеживалось это непонимание. Я писал, что люблю его, что он мне нужен, что я не могу без него

жить. А нужно было написать что-то другое. Мои слова он воспринимал как бессмысленные штампы, миллиарды раз повторенные (а только этим они и были). И когда последняя его надежда не оправдалась, он решил снова покончить с собой. У него хватило мудрости не делать это 2 ноября. Он сделал это 3-го.

Он вел в Интернете дневник. Я читал его. Он писал, что видел на улице букет гвоздик, выброшенный каким-то школьником по дороге на День учителя. Букет пах жизнью, он просил Патрика остаться. Но стены его дома кричали, чтобы он умирал. Табуретки кричали. Злые ангелы, поселившиеся в его голове. И Тварь, пришедшая из *бездны*. О бездне он писал не зря (вернее, зря, поскольку никто его не мог тогда понять), но не случайно. Чем четче человек воспринимает красоту, тем лучше он видит *бездну*, куда красота стремительно уходит. Не нужно верить позитивеньким болванчикам. Они или упороты, что ничего не понимают, или понимают все, только не говорят, чтобы нас зомбировать. «Позитивный» человек есть лжец. Патрик и не был позитивным. В его записях в дневнике я видел бесконечную боль и отчаяние. *Бездна* была у этого человека в голове.

Патрик руководствовался той же стратегией, что и в 2006 году. Он оставил себе шанс спастись, хотя и меньший, чем при первой попытке. Только теперь он не перерезал вены, а съел пачку ядовитых таблеток. И снова родители спасли его, в самый последний момент, когда он был на пороге клинической смерти. Через пару дней (которые я провел в безумном, просто адском чувстве, будто меня и всех моих близких смертельно прокляли и они все будут умирать в начале ноября), когда его откачали в реанимации, я позвонил ему. Через несколько дней его должны были отправить в психушку, очень надолго. Он просил меня не приезжать. Я послушался, и это стало очередной ошибкой в числе многих.

* * *

Как проходила «новая жизнь», на которую я так надеялся? Да примерно так же, как и старая. Это миф, что жизнь можно начать заново. А может, не миф, может, сильные люди и могут. Но я такого не видел. Не вставало у меня перед глазами примера, чтобы человек, живший по уши в говне, вдруг поднялся из него, очистился и стал нормальным. А вот обратных примеров — пруд пруди. Из нормального состояния в говно упасть очень легко. Мы все ползем, как улитки, как капли слизи или кислотного дождя, — ползем в жадную черную *бездну*.

Я-то думал, что когда мне перестали мешать, я раскроюсь и стану таким, каким хотел быть. Вот оно как. А кем я хотел стать? Писателем? Нет. В писательство я подался из эскапизма. Всю жизнь я мечтал стать нормальным человеком, обычным, тривиальным, «таким, как все», непроницаемым, невидимым в толпе. Хотел лицо чуть красивее морды гориллы. Хотел тело, чуть толще и сильнее, чем обтянутый кожей скелет. Хотел мозг, понимающий эту жизнь чуть лучше, чем куча кала. Мне не нужно ничего запредельного, выходящего из ряда вон. Друзья, девушка, работа. Способность общаться с людьми. Если я буду нормальным, то смогу добиться чего угодно. Потому что нормальный, простой, обычный человек — это сила. Мало на свете задач, которые требуют чего-то экстраординарного, гениальности, сверхспособностей. В основном все науки, все великие дела обычному человеку по плечу.

Но я не был нормальным. Я б мог попросить у гипотетического джинна, чтобы ко мне хотя бы *относились, как к нормальному*, но в университете это было и без всяких джиннов. Люди, которые меня окружили там, не знали попервоначалу, насколько я ничтожен. Нет, кое-кто меня сразу раскусил: самые подлые и тупые натуры. Я уже писал, что наиболее близкие в плане интеллекта к зверям люди обладают уникальной способностью подмечать все чужие слабые стороны, как, например, волки подмечают больного или слабого оленя в стаде. Но университет был для быдла почти не доступен, и большинство моих товарищей и одноклассников говорили, гуляли и балагурили со мной, как с равным. Они друг друга подкалывали (в том возрасте молодые люди остры на язык), толкали друг друга в шутку, поглощали неимоверное количество спиртного. Но я-то не был нормален. Если нормальный человек на обидную шутку только захохочет и скажет что-нибудь едкое в ответ, то я ничего такого сообразить не мог, мне казалось, что это не шутка, а правда, и настроение портилось на весь оставшийся день. От понарошного толчка нормальный человек лишь пошатнется да даст пинка, а я падал и плакал. Выпив вина, нормальные люди веселились, я же впадал в тоску, а совсем напившись, утрачивал контроль над собою. Обида на бывшие унижения и недостаток внимания перла в такие моменты из моего подсознания, как говно из унитаза, в который кинули дрожжи, и я пинал на улицах автомобили, залезал на столбы, бил бутылки, орал непристойности прохожим и делал вид, что хочу покончить с собой. Конечно, я делал так только в компании, ибо в одиночку быстро бы отхватил леца и гордыня была б смирена. Немудрено, что со многими хорошими ребятами и девчонками отношения у меня испортились. И это интересно. Ведь в том возрасте и обстановке многие лю-

били «психов». И многие (как правило, говнопоэты и др. «креативные» натуры) «психов» из себя изображали, пытаясь снискать успех в обществе. И успех к ним приходил. «Вот псих!» — говорили барышни восхищенно. «Да, он настоящий поехавший», — подтверждали парни с одобрением. На Руси издревле любят юродивых, да вдобавок среди мещанства бытует поверье, будто все талантливые люди в чем-то ненормальны: они-де или сумасшедшие, или алкоголики, или, на худой конец, педерасты. А все оттого, что этими филистерами, жаждущими причаститься к «творческому безумству» или хотя бы узреть его, талант воспринимается как девиация. Ну да это известно. А видели ли они настоящего психа хоть раз? Ощущали ли себя в его шкуре? Представляли, как за их спиной закрывается десять прочных дверей и решеток, отделяющих дурдом от внешнего мира, как и впереди их ждет только ад в голове, безумие вокруг, уколы в жопу и распидорашенный туалет по расписанию? Ну, я кому-то из них показал, что такое «настоящий псих», и некоторые со временем поняли. А кто-то продолжил со мной общаться. Это лучшие мои товарищи. Они видели, что я ничтожен, но не плевали на меня, а напротив — защищали, насколько могли. Чтобы никто меня в шутку не толкал, не говорил гадости. Я им очень благодарен, а впрочем, унижительно это. Замечать уродство — плохо, не замечать — тоже плохо. Мне при любом раскладе плохо, и это есть судьба. «Родился уродом — терпи всю жизнь», — говорил Патрик, правда, не про меня, а про себя.

Очень портили жизнь безумные преподаватели. Таких было немного, но количество с лихвой перекрывалось качеством. Крыша у них протекала знатно, говнопоэты только позавидовать могут. Впрочем, чему завидовать? Гениальностью эти мэтры не блистали, хотя и считали иначе. Помню одну старуху, ныне покойную. Она, понятно, возненавидела меня с первого же занятия и замыслила примерно то, что сделала в начальной школе другая сумасшедшая баба-педагог, — она решила направить на меня ненависть общества. И кто знает, каких бы успехов она на этом поприще достигла, если б уготованное мне место не занял внезапно другой человек. Это была девушка, не очень общительная, не совсем по моде одевавшаяся, прямо скажем, странная, а этого людишкам достаточно, чтобы впасть в бешенство. И вот однажды случилось следующее: конкурс ораторов. Девочка та написала к нему речь, но злая старуха запретила ей выступить. Не то что там совсем плохо было. Речь как речь, не хуже и не лучше других. Но больная бабка взъелась и не пропустила. Девочка же та, уж не знаю как, все же выступила на конкурсе. Ну что, казалось бы, тут тако-

го? Ан нет. Полоумная старая курица взбеленилась и решила сжить несчастную со свету. Ближайшую пару лекций она посвятила тому, чтобы публично, перед всей группой оскорблять «зарвавшуюся». Но и это еще полбеды. Истинный масштаб безумия дошел до меня, когда шизофреничная кошелка дала слово нам, однокашникам незадачливой девочки-ритора. Я думал, что хотя бы в университете меня окружают люди образованные, умные, интеллигентные, красивые и благородные. Не тут-то было. Как минимум половина баб из моей группы одна за одной стали рассказывать, насколько эта девочка отвратительна, подла и гадка. Одна бешеная захерачила речь на сорок минут, послушав которую можно было решить, что Цицерон лучший друг Катилины. Истину глаголю: людишки — это звери, они жаждут крови, они при каждом удобном случае кидаются на мясо, пьют кровь, когда ее видят, добивают упавшего и отличаются от обезьян только в худшую сторону. К счастью, не все. Узнали о той истории адекватные люди из деканата, и травля несчастной не получила развития, или почти не получила, ибо на девчонку ту телки из моей группы до самого конца обучения продолжали коситься как на прокаженную. Я же получил урок: *если у тебя паранойя, это еще не означает, что тебя не преследуют, и если все хорошо, значит, все хорошо замаскировано.*

Выводили из себя бюрократы. Особенно бюрократы в белых халатах. Имя им «медкомиссия». Ее нужно было проходить всем студентам. Располагалась медкомиссия сия в узеньком закутке, из которого вели двери в три кабинета. И через эти три кабинета каждый год должны были проходить студенты вплоть до четвертого курса и преподаватели всего университета (а это порядка четырнадцати тысяч человек). Очередь растягивалась на дни. Медкомиссию мог пройти кто угодно: прокаженный, сифилитик, наркоман, — но только не тот, у кого отсутствовала прививка от столбняка. Или еще от чего-то. Информацию о прививках «медкомиссия» получала из выписки из поликлинической медкарты. Проблема в том, что в поликлинике выписку не давали просто так — требовался запрос от «медкомиссии». Справка, чтобы получить справку. И это не все. От физкультуры-то меня после мононуклеоза освободили, чтоб печенка-селезенка не лопнула. Да вот не годилась поликлиническая справка для университета. Нужно было поставить в нее штампик «медкомиссии». Для штампика же требовался еще десяток справок. Нет-нет, я не настолько свихнулся, чтобы думать, будто «медкомиссию» учредили исключительно для издевательства над студентами. Я абсолютно уверен, что ее придумали люди, *желавшие добра.*

Ну да неинтересно все это. Это все студенты про- ходят, только им живется веселее, ибо они нормаль- ные. А я жил другим.

* * *

И хотя я жил другим, возвращаться туда не спе- шил. Патрика лечили в психбольнице полтора месяца и должны были лечить еще, но на Новый год отпу- стили домой. Он хотел меня увидеть. Он мне писал, звал. Что же сделал я? Я почему-то не приехал. Нет, не почему-то. По вполне определенной причине. Не приехал я потому, что в башке у меня вместо мозгов куча кала. И не просто кала, а кала, до болезненности тщеславного. Именно тщеславие не пустило меня на Новый год в Ростов. Мне, видите ли, было неприятно думать, что я так мало для Патрика значу: что он, не- смотря на меня (Меня!), все ж таки решил покончить с собой. «Как так? — не понимало тщеславие. — Разве не несу я счастье, за которое он должен благодарить меня по гроб жизни?»

Я не мог ответить по-другому. И мой отказ при- ехать на Новый год не ошибка, а напротив — часть вселенской работы над ошибками. Можно было бы сказать, что проворонил я счастье, да как его прово- ронишь, если оно изначально предназначалось не мне?

И все ж сильны были волны, поднятые на поверх- ности реальности моей ненаглядной флуктуацией. Вы- толкнули они меня на берег из моря говна и еще раз. Такие уж у нас с Патриком были отношения. Пунктир- ные, что ли?



Здесь могла быть наша судьба.

Не могу сказать, сколько его клали за это время в сумасшедший дом. Раза два — точно. Может быть, три. Сведения от Патрика поступали странные, как и всегда. И, как всегда, тревожные. На графоманском сайте появились две его новые повести: «Последний приют» и «Кома». Это были гениальные произведения. Мало кто из великих писателей мог изобразить бездну так, как Патрик в этих двух повестях. А все потому, что он знал, о чем пишет. И все в них было правдой, хоть в это и не хотелось верить (*Illud utinam ne vere scriberem*). И в них было зашкаливающее количество той красоты, которую ищут на темной стороне бытия и за которую я сам полюбил творчество Патрика. Я ви- дел эту красоту и в его дневнике.

После психушки он стал употреблять наркотики чаще. Преимущественно ДХМ. В дневнике я увидел его фотографию под этим веществом. Он был пре-

краснее, чем когда-либо. Он сжигал себя, и пожирав- шее его пламя творило невероятное. По всей видимо- сти, к тому он и стремился. Он стоял на коленях, на фоне памятника, в растянутой майке и старых джинсах, руки его были все в синяках после уколов в дурке, а из- за пояса торчала компьютерная мышь — его талисман. Патрик очень любил мышей и хотел написать про них роман-антиутопию под названием «Мышеловка».

В психушке ему назначили инсулинокоматозную терапию. Это, наверное, самый жестокий метод лече- ния после лоботомии и электрошока (которые в России запрещены). Пациенту ставят капельницу с инсулином, который поглощает сахар в крови до тех пор, пока человек не впадет в состояние комы. Затем больного возвращают к жизни уколом глюкозы. И так несколь- ко раз. Или несколько десятков. Пока не разрушатся тонкие связи в голове, в коих, как верят врачи, и живет шизофрения. Несмотря на встречу с замечательным психиатром, меня еще не покинуло мещанское пре- дубеждение против психиатрии как таковой. Я думал (и теперь иногда думаю), что немало там маньяков и садистов. Если маньяки и садисты есть в университете, почему б им не быть в психбольнице? Но в случае с Па- триком врачи, конечно, *желали добра*.

Как показывал графоманский сайт, овощем Патри- ка не сделали, писать он не разучился. Но что он испы- тал? Кем стал после пережитого?

Патрик сказал, что теперь он не Патрик. Он Сеня. И обижался, когда я называл его Патриком. Го- ворил, что я ничего не понимаю. И так и было.

Когда мне было восемнадцать,
Я был сплошной идеалист,
Я чистый был — не подкопаться! —
Как белый типографский лист.

Когда мне было восемнадцать,
Я был ходячий анекдот.
Любил я выпить и подраться,
И не было других забот.

Когда мне было восемнадцать,
Я очень много говорил;
Смеялся — я умел смеяться,
Умел любить — и я любил.

Когда мне было восемнадцать,
Я был всему на свете рад...
Когда мне было восемнадцать —
А это было год назад.

Из дневника я узнал, что у него «появился па- рень». Я не впал в уныние, ибо знал, что под «парнем»

в случае с Патриком можно понимать кого угодно, только не парня. Имя Фриц меня, однако, насторожило.

Сдав летнюю сессию, я направил стопы своя в самый лучший город на Земле.

Лето 2008-го. Самый ад.

* * *

Я опоздал на два часа. Тем самым я опоздал три раза по два часа. А через это не успел на Праздник Жизни.

Было это так. Я долго возился перед отъездом и приехал на вокзал, когда мой автобус уже ушел. Следующий отправлялся спустя два часа. Я сел и стал убивать время. И, убивая, думал, что вот оно, странное умножение: сейчас мне нужно томиться на вокзале — и это будут одни два часа. Когда я сяду в автобус и до Ростова останется два часа, я снова буду томиться мыслями, что мог уже быть на месте, с Патриком. Вот вам и два раза по два часа. И это ерунда по сравнению с третьим разом.

В Ростов я прибыл на следующее утро. Патрик, как и в прежние встречи, ждал на вокзале, но если б прежних встреч была тысяча, не надоело бы мне приезжать в эту жару на эту площадь и видеть его. Каждый раз происходил как будто впервые, и я волновался и удивлялся, узнавая его. Я забывал его голос за время разлуки, а лицо у него всегда разное было (возможно, из-за частой смены причесок). Что до фигуры, то в воспоминаниях Патрик представлялся мне очень маленьким, в то время как ростом он был лишь чуть-чуть ниже меня. Это из-за худобы. Патрик весил сорок три килограмма и мечтал похудеть до сорока, но у него все не выходило, и он называл себя «жирным».

Теперь у него были черные волосы с прямым пробором, немного не доходящие до плеч. И «фирменная» клетчатая рубашка с длинными рукавами. Рукава он при случае закатал, чтобы я рассмотрел синяки от капельниц.

Когда я увидел Фрица, подоспевшего к нам через полчаса, то не сразу понял, девчонка это или пацан с гормональными нарушениями. Оказалось, девчонка, только очень уж похожая на наркоманку-героинщицу. Не в обиду Фрицу это сказано — меня самого принимают за героинщика из-за невероятной худобы, синих ногтей и вырожденческих черт лица. Что за человек был Фриц, я так и не понял. Хороший он или плохой, что обо мне думает, чем живет. Патрик с ним спустя несколько лет рассорился, а до того они вполне успешно были «парнем и девушкой» (или «парнем и парнем», или «девушкой и девушкой»). Жара стоя-

ла вполне себе ростовская. Мы шатались по городу и встретились с Метлой. Метла — это лучшая подружка Патрика. Девчонка хорошая, но Патрик мне ее не показывал после того, как я ляпнул, что она-де «в моем вкусе». Я тем самым хотел лишь сказать, что у нее все в порядке с внешностью, но получилось как обычно.

И стали мы шататься вчетвером, не считая воображаемых друзей Патрика. В один злосчастный момент кто-то завернул в сомнительного вида аптеку и купил сиропа от кашля с этим самым DXM. Предубеждение мое против наркотиков тогда еще не прошло, и я заявил, что упарываться этой отравой не стану. Патрик как будто бы расстроился, или мне показалось. Он уважал мой выбор и настаивать не стал. Отчего-то принять наркотик он решил у себя в комнате.

Мы пришли к нему домой. Родителей не было. Я валился с ног от усталости и решил вздремнуть часик-другой. Посмотреть на угондошенных дексом друзей, конечно, тоже было любопытно, но не настолько, чтобы вставлять в глаза спички. И завалился я на диване в гостиной. И третьи два часа дали о себе знать.

Когда сон отпустил меня, события прошли точку невозврата. Минуту все было тихо. За эту минуту я успел проснуться. Потом со стороны прихожей и комнаты Патрика раздался грохот и крики.

Он уверял, что принимать наркотики дома совершенно безопасно, и я ему поверил. Он говорил, что родителям до лампочки, что он взрослый и все ему можно. Я думал, он знает, что говорит. Куда делась моя спасительная паранойя?

Родителям было совсем не до лампочки. Пинками под зад Валентин вышвырнул Метлу и Фрица со двора. Я, признаться, перетрусил, ибо спросонья был упорот не хуже них, а выглядел совсем паршиво. Но Валентин, в каком бы бешенстве он ни находился, распознал, что я не под DXM. Хотя черт знает, что ему почудилось в первые мгновения. Да нет, я знаю что. Мне это аукнулось.

Отведя взгляд от меня, он швырнул Патрика на пол и стал бить ногами. Мы со Снежаной с трудом его оттащили. Взяв себя в руки, он ушел на улицу. Я последовал за ним, а Снежана поволокла Патрика в ванную комнату.

Валентин сидел за столиком под навесом во дворе и курил. Руки его тряслись. Я рассказал ему, что видел и знал. «И что будет дальше?» — «Только больница, теперь уже надолго, возможно, на годы».

Патрик плакал в доме на коленях Снежаны. Когда он узнал, что снова вернется в больницу, с ним случилось страшное. То самое страшное, которое бывает, когда кричишь и не можешь докричаться до человека

рядом. Снежана была непреклонна: она звонила по телефону 03. Я просил ее не делать этого. Тщетно.

Несчастливого Патрика, у которого не проходили галлюцинации, забрали санитары. Снежана уехала с ними.

Я все это видел.

* * *

«Ты будешь дураком, если уедешь сейчас в Москву», — сказал Валентин, заперев калитку. Он что-то решил, и коварная судьба опять подавала мне надежду. Забегая вперед, скажу, что надо было уезжать в Москву из этого ада.

«Я хочу выпить стакан водки», — сказал Валентин, усаживаясь все на тот же стул во дворе. Я сел напротив. Валентин налил по стакану, и мы выпили. Это был первый раз, когда я хлопнул 200 граммов залпом. Удалось мне это без особого труда: водка попалась знатная. Закусили половинкой помидора. Во взгляде Валентина появилось уважение. Алкоголь здорово социализирует. Надежда, что произошло недоразумение и Патрика не упекут на несколько лет, немного окрепла.

Мы трепались об университетах, бабах, работах, военной службе, людishках, наркотиках, подлости, врагах, Москве, Ростове и прочем. Валентин говорил, что приезжал на день в Москву, когда Патрик туда убежал, но, так ничего и не сделав, уехал обратно. Я сказал, что не люблю Москву: слишком много народа, шума и суеты. Ростов, сказал я, мне куда больше нравится, да и в целом Юг России поприятней Севера будет. Валентин поведал, что служил во флоте и было ему там очень весело и бодро. Он не понимал, почему я не хочу идти в армию. Я ответил, что послужить не прочь, но образование-то получить надо, благо первый курс уже окончен. А после университета почему б не отдать родине долг, особенно если часть попадет нормальная? Валентин отмахнулся и заявил, что это все миф о «плохих» частях. Нормальному мужику в армии везде хорошо будет, а «плохие» части — выдумка мамок, да и я на это повелся, так как с мамкой живу. Я возмущился и ответил, что многие мои товарищи из университета отслужили, и служба их прошла нормально, и моя пройдет не хуже. «Сколько раз подтянешься?» — недоверчиво скривился Валентин. Его бесило, что я дистрофик. Но подтягивание было моим козырем, ведь я почти ничего не весил, а на турнике проводил много времени, теша себя иллюзией, будто смогу через это дать отпор ублюдкам; водка же удесятяряла силы. Впрыгнув на газовую трубу, я подтянулся пятнадцать раз. Валентин хмыкнул уже с совсем другой интонацией, и мы накатили еще. «А ты

видел, как я дом ремонтирую? Пойдем покажу», — и он устроил мне мини-экскурсию по отремонтированным и находящимся в процессе комнатам. Я похвалил результаты, но высказал осторожное замечание по поводу лепнины на потолке гостиной. «Стоит ли ее менять на подвесные потолки?» Валентин обещал подумать, нельзя ли сохранить старинные узоры или, может, как-то их осовременить. Я также выразил тревогу по поводу наклонившегося после падения бомбы фасада. Валентин заверил, что принял нужные меры, трещины больше не ползут и обрушение фасада не грозит. Вернулись во двор. Бутылка почти закончилась, достали вторую. Валентин признался, что он закодирован. Был. До сегодняшнего дня. Махнул рукой, налил. Спросил, читал ли я «Книгу психонавта». Я-то читал, но ему сказал, что только слышал. «А я вот читал. И знаешь что? Написана она профессионально очень. Не школьники это писали. И не наркоманы. Это писали люди, умеющие писать. Вопрос только, с какой целью? Ничего мне в голову не идет, кроме одного. Это психологическое оружие, понимаешь? Кто-то из-за пределов России распространяет эту херню среди наших детей. Они знают, что дети — наше будущее. И они хотят у России будущее отнять». Я помолчал, подумал и вспомнил, как это называется. «План Даллеса», — сказал я Валентину. Тот пожал плечами, отмахнулся от чего-то. Я не стал ему рассказывать, что писать — это не рисовать, не играть на скрипке, и «профессионально писать» в наш компьютерный век может каждый второй девятиклассник. Тем более журнашлюхи своей безграмотностью и некомпетентностью опустили понятие «профессионализм» до уровня унитазов. Валентин бы не поверил. Да и слышал я уже то, что он говорил, только от другого человека. От своей матери. Она тоже считала, что на интернет-форумах пишут на редкость «профессионально». До сего дня профессионально могли писать лишь агенты ФСБ. Теперь к ним добавились недруги России.

«А ты никогда не задавался вопросом, — сказал Валентин, веселя, — как это вот я, несуразный пьянчужка-матрос, такую красотку в жены получил?» Я попросил поделиться премудростью. «А нет тут премудрости никакой. Я ей силу показал. Женщина в мужчине силу любит. Ей нужен орангутанг. Понимаешь?» Я выразил удивление. «Нельзя с женщинами на их языке говорить, — объяснил Валентин. — С ними надо говорить по-мужски. Покажи Аньке, что ты мужик». Я сказал, что Патрик, как мне кажется, и без этого не сомневается, кто я. Тогда Валентин напомнил, что мы в прошлом году спали на разных кроватях. А в этом году, намекнул он, я мог бы отнять у нее декс, раз уж я такой хороший и правильный.

Вернулась из больницы Снежана. Ей было неприятно, что муж принялся за старое, но делать было нечего, такой уж день. Выпила водки и она — за компанию.

Валентин прославлял силу. Я сказал ему, что он, по всей видимости, прав, и женщины любят силу, но боются боли. Снежана поддержала меня. Я подумал, что это хороший знак. Но я был слеп. Она говорила приятные вещи, а сама смотрела на меня как на говно. А у Валентина в голове просто-напросто был маятник, который мне сегодня повезло качнуть в свою сторону.

«Ты знаешь, — спрашивал он, щурясь, — почему я длинные волосы не люблю? Потому что в драке их на кулак можно намотать». Я напрягся, а он подмигивал мне, ревел: «Орангутанг!» — и прыгал, хлеща водку из горлышка.

Мы трепались до поздней ночи, пока не начали заплетаться языки.

* * *

Просыпались они часов в семь; пришлось рано проснуться и мне. Многое вынужден я был делать в своем и Патрика аду, и подъем спозаранку — сущая мелочь, хотя в то утро я еще не вполне протрезвел.

Они позавтракали вместе со мной и стали думать, что делать дальше. Им сложно было поверить, что после стольких месяцев самого интенсивного «лечения» Патрик не «выздоровел». Они включили его компьютер, стали смотреть рисунки Патрика, материалы из Интернета. Там не было ничего, что могло бы им понравиться. Чем дольше они смотрели это, тем сильнее росло в них чувство собственного бессилия *понять и повлиять*, а людьми они были властными и привыкли, что все им понятно. Когнитивный диссонанс был для них чувством новым и пугающим. У них было несколько готовых решений, но под данную ситуацию подходило только одно.

Уничтожить.

«Надо покончить с этой мерзостью раз и навсегда, — сказали они друг другу и мне. — Мы были слишком добры, слишком мягки, распустили ее, избаловали. Теперь мы не будем такими. Мы с этим расправимся».

Мне оставалось только беспомощно взирать, как они вытаскивают из ящиков, из шкафа, из-под кровати вещи, ценность и значение которых им были не ведомы. Они сваливали это в кучу посреди комнаты, а когда спрятанных вещей не осталось, они стали перетаскивать кучу во двор. Кое-что, что казалось им *нормальным*, они оставили, но этого было совсем немного. Они облили кучу вещей Патрика бензином и подожгли, чтобы дьявол покинул их жилище. Они сожгли

не все. Кое-что я спрятал в своем рюкзаке, пару фотографий и рисунков закинул на шкаф. Я рисковал. Если б это заметили, они бы поняли, что я тоже служу дьяволу, похлеще Фрица с Метлой и Даллеса с Бжезинским. Кое-что сжечь они не посмели. Они спрятали это далеко-далеко, а вечером Валентин съездил куда-то на машине и вернулся с сейфом. В него они заперли вещи, на которые не поднялась рука, в основном уцелевшие от костра рисунки.

«Ты можешь уничтожить все, что находится на этом компьютере? — спросили они. — Отформатировать?» Я должен был сказать, что не могу, но они уже видели в прошлом году, когда я переустанавливал операционную систему на их ноутбук, что я могу. И мне пришлось согласиться. Форматирование отложили на следующий день, а тогда мы, поздно вечером, уехали с Валентином во дворе. Он был мрачен, задумчив. О чем он думал? Он сказал, о чем.

«Ты гулял по нашей улице? — спросил он, глядя на огонь сигареты, которую держал в руке. — Видел, что там, в конце?» Я задумался. Вечер был длинным и тяжелым, над городом висело марево, пахло дымом, как будто бы костер, где пытались уничтожить Патрика, еще не вполне потух. Только тогда мне пришло на ум, что улица у них и вправду донельзя странная: вначале идут дома как дома: пусть старые, пусть потрепанные временем, — но если идти дальше, начинаются одни развалины, свалки, странные сооружения, вроде гаража в три этажа высотой, а потом и вовсе какие-то чахлые деревья, старинные полуобвалившиеся лестницы, как во сне, а дальше спуск к Дону, заброшенный завод, прогнившие до скелета ангары, болота, из которых торчат кривые-косые сваи, и цех с Мыслящей Лужей. Дорога идет и еще дальше, но уж туда мы не ходили. «Там разрушение, — сказал Валентин, который чувствовал то же, что и я. — Древнее. Страшное». Клянусь, я не выдумываю.

Ночь была тяжела и душна, как и вечер. Я лежал в комнате Патрика и не мог уснуть. Впервые я оказался так далеко от дома без друзей, в чужом, большом и почти пустом доме с высоченными потолками. Я слушал стрекотание кузнечиков, но ночь шла, и кузнечики смолкли. «Почему они смолкают?» — думалось мне. Самое время играть на скрипке: ни тебе машин, ни людишек. Неужели и им в эти глубокие ночные часы становится страшно?

Патрик часто говорил, что дом его полон кошмаров. «Когда-нибудь, — писал он, — я разберу свой дом на кирпичики и раздарю их моим друзьям. Тогда у каждого из них будет по личному кошмару, а я останусь без дома, который ненавижу». Как-то так он писал. И я, лежа на его кровати, начинал понимать,



как можно ненавидеть фамильный дом, старинный и красивый. Кошмары лезли мне в голову, хотя я был далек от сна. Я представлял себе всякие жуткие вещи; я давно не считал безумие братом творчества, но тогда я начал его еще и бояться. И впервые ощутил близость *бездны*. Она разверзлась где-то там, где было страшное, древнее разрушение, как будто бы далеко от моей кровати, но — черт побери! — переместись эта *бездна* в другую галактику, мне б засыпáлось спокойнее.

* * *

Не помню, ни черта не помню. Прошел день или два. Они все не решались распотрошить компьютер Патрика. Наконец решились. Снежаны не было дома, а может, она спала. Мы с Валентином включили компьютер. Валентину хотелось напоследок еще покопаться в хранящейся на нем информации. Он плохо знал компьютеры, но у него уже начала развиваться интернет-зависимость, как и у всех нас. Мы открыли браузер. Валентин стал изучать его функции, наткнулся то ли на «закладки», то ли на список адресов наи-

более часто посещаемых сайтов. Первое место там занимал виртуальный дневник Патрика. Я прочитал вместе с Валентином самую последнюю запись, и земля начала уходить из-под ног.

«Я сходил на рынок и купил кольцо. Осталось найти катетер и проколоть ухо, тогда я стану готичным. Но это все потом, сегодня поздно уже. Нужно рано лечь, ведь завтра с утра приезжает Макс. Встречу его на вокзале, и пойдем потом кушать таблетки». Не ручаясь за точность цитирования.

«Кушать таблетки...» — повторил Валентин вслух. — «Я не ем таблетки», — ответил я ему. — «А тут написано, что ешь», — сказал он, глядя на меня взглядом раздевающим, отвратительным, убийственным. — «Я против этого, поймите. Я в жизни не принимал наркотиков и очень не хочу, чтобы ваша дочь их принимала». — «Мне опять хочется водки. А может, и не водки».

Он дернулся к выходу из дома, чтобы закурить, но на улице хлынул дождь. Впервые я видел дождь в Ростове. Это был ливень, настоящий потоп. Валентин курил в открытую дверь, а я сидел на корточках, где-то у его ног, совсем без сил, чувствуя, как в сотый

раз меркнет в конце туннеля свет и лижет мои пятки пламя ада.

«Я не могу никак доказать вам, что говорю правду. Вы сами вольны решать, верить мне или нет».

Валентин все курил, а лица я читать не умел и не мог сказать, что он думает. И дождь все лил, и лил, и оглушающе стучал по пластиковому навесу над столиком, где мы пили водку. Наконец сигарета кончилась.

«Пойдем, уничтожим это. Сейчас».

И пошли. Он сидел за моей спиной. Следил, как я захожу в BIOS, выбираю загрузку с CD-привода, вставляю в дисковод компакт-диск с операционной системой. Если б не дневник, если б не эта чертова запись, если б не спонтанное желание непонятного мне человека порыться в чужом белье, я бы придумал хитрость. Я бы отформатировал только один жесткий диск и выбрал бы «быстрое» форматирование, после которого сравнительно легко можно восстановить все данные. Но он сидел за моей спиной, постоянно задавал вопросы, контролировал, что я делаю. Он ни черта мне не верил, вот в чем беда. Я мог бы соврать, но он уловил бы ложь. Он хорошо меня чувствовал. А я его чувствовал плохо, но и то не мог не видеть, какая ненависть готова была в нем вскипеть. И таким вот образом в дождливый долгий день я собственными руками уничтожил то, что сам не смог бы создать и за тысячу лет.

Я не знаю, что бы стало, уничтожь кто информацию на моем компьютере. Валентин видел, наверное, фантастические фильмы, где человек слился с машиной в единое целое. И Валентину со Снежаной это казалось невозможным, и противоестественным, и маловероятным из-за этой противоестественности. Они и представить себе не могли, что мы, следующее поколение, уже несколько лет как те самые «киборги», полуплюди-полуЭВМ. Да и создавали ли они в жизни хоть что-то, что можно было бы хранить на компьютере?

Часть моего сознания давно записана на жесткий диск. Большая часть. И лучшая. Особенно теперь, когда биологический мозг стал сдавать. Там результаты многих лет упорного, хотя и бесплодного труда. Там крохи счастья, которые чудом уцелели от *бездны*. Там то, что вдохновляло меня и давало подобие радости и надежды. Я не могу жить без компьютера. Как и Патрик. Я надеялся только на то, что Патрик сохранил важные данные где-то еще. Я всегда сохранял. Я параноик. И Патрик говорил, что он параноик. Он обязан был делать *back up*.

От содеянного нами Валентин пришел в ужас. Он слегка отошел и заулыбался, лишь когда заново установленная операционная система загрузилась. Но когда я в ответ на его вопрос сказал, что удаленные данные не вернуть, вновь примолк. Побледнела и

Снежана, когда вернулась, и мы ей сообщили. Они не были настолько глупы, чтобы совсем уж не понимать масштаб катастрофы.

Они решили скрыть от Патрика свое преступление, и опять посредством меня. Я должен был замкнуть в компьютере провода, чтоб он сгорел. Валентин пообещал, что поработает над электрощитком в доме, чтобы и там «полюхнуло», и создаст иллюзию несчастного случая. «А потом, — говорил мне Валентин, — мы купим Тане новый компьютер, дорогой, хороший. На старый-то она давно жалуется. Заберем ее из психушки, поедем на море все вчетвером». «Очень хочу на море», — говорила Снежана.

Я все сделал, как они сказали, ведь я *хотел добра*. А уж как *хотели добра* они!..

* * *

После дождя улицу Патрика размыло, и на свет показались куски асфальта, о которых он мне рассказывал год назад. Вместе с кусками появились и неожиданные гости: камни и куски бетона, которые грязевые потоки принесли с вышерасположенных улиц. В неожиданных местах образовались ямы. Проехать по улице стало возможно только на автомобиле-внедорожнике; у большинства же жителей в наличии имелись лишь обычные легковушки (за исключением одного хитрого дедушки, приберегшего со стародавних времен ЛуАЗ-969М, похожий на маленького сердитого ежика). Вечером следующего дня все автовладельцы вышли на улицу с лопатами и принялись ее чинить. Вышли и мы с Валентином. Я надеялся, что совместный труд нас сплотит. Я чинил Ростов и пел про себя:

Этот город самый лучший город на Земле.
Он как будто нарисован мелом на стене:
Нарисованы бульвары, реки и мосты,
Ярко-желтые трамваи, розовые сны.

На следующий день Валентин обещал свозить меня к Патрику. Он выполнил обещание.

Снежана поехала с нами.

Психушка находилась за городом, возле деревни Ковалевка. Когда мы въезжали в нее, я почувствовал себя оберштурмфюрером СС, прибывшим с визитом в Освенцим. Я описал уже государственную психиатрическую больницу. Ковалевка выглядела так же с поправкой на масштабы воровства ростовской администрации. Корпуса больницы не ремонтировались годов с 30-х. Часть из них была из дерева. Кое-какие покосились. Пожар мог вспыхнуть в любой момент, а при пожаре в психушках всегда гибнет много народа,

так как персонал не готов к организованной эвакуации опасных пациентов и до последнего держит их взаперти.

Если в московском дурдоме царила антисанитария, то тут была просто помойка. Патрик рассказывал, что больше всего на свете боится маленьких лысых женщин. Пока мы ждали его привода, этих завшивленных, пускающих слюни мадам прошло мимо нас десятки. Я тоже стал их бояться.

Патрика, хвала Ктулху, не обрили, только накачали дерьмом по самое не могу. Еще б его не накачали! Уж я-то знал, какой ненавистью преисполняются безграмотные врачи, когда пациент демонстрирует симптомы неизвестной хвори и привычными терапевтическими методами исцеляться не намерен.

Патрик висел у меня на плече, и рыдал, и умолял, чтобы его отсюда забрали. Я смотрел на Снежану. Мне сложно было представить, что испытывает мать в такой ситуации. Понятие «мать» слишком обобщено: совсем разные люди могут ему соответствовать. Есть индивидуумы, которые скорее заклят своему отродью очко суперклеем, чем будут слушать его рев. Есть те, которые падают в обморок, стоит вскопчить прыщуху на носу их чада. К какому полюсу была ближе Снежана, я не скажу.

Мы уехали из больницы подавленные. Я видел, как на Снежану и Валентина повлияло увиденное, но они не сдавались и гнули свое. Возможно, в тот момент (именно в тот, когда мы только выехали за ворота психушки, не раньше и не позже) я понял, что они чувствуют. Единственная дочь принимает наркотики, лечение не помогает, что делать, непонятно, лечить дальше жалко. Любого человека можно понять, или, по крайней мере, почувствовать то же, что он. Только вопрос: кому это на пользу пойдет?

* * *

Узнав телефонные номера Метлы и Фрица, я попытался выйти с ними на связь. Я не знаю, чего хотел от них добиться. Скорее всего, подтверждения, что они толкают Патрика в бездну. В школе мне привили сознание, что бывают-де *плохие друзья*. Которые спаивают, подсаживают на наркотики, подталкивают к преступлению. Позже-то я узнал, что это не так. Что все мы, общаясь, друг друга на дно тянем. Позже — но не тогда. Тогда надо мной довлел стереотип, который подтачивался фактами, но оттого лишь сильнее меня мучил, как любая концепция, давно человеку привычная и вдруг поставленная под сомнение.

Фриц отвечал охотно, но конкретное время встречи не называл. Ему тогда было лет шестнадцать, а то

и пятнадцать, а как на подобные событияотреагирует человек в столь раннем возрасте, мне сказать сложно. Едва бы я сам повел себя адекватно серьезности ситуации. Ну а Метла (ее Юля звали) была посговорчивее, и в тот же день, изложив в телефонном разговоре суть дела, я был приглашен в гости.

От дома Патрика до Юли идти от силы двадцать пять минут. В прошлом году мы много гуляли по Ростову, однако роль Патрика как талисмана была мной преуменьшена. Пройдя же по людной улице и три раза услышав «Э, постригись, пидорас!» и два раза «Слышь, дай денег!», я вернулся из радужных грез в суровую реальность и куда лучше осознал помощь, которую оказывает красивая женщина в таких, казалось бы, обыденных мероприятиях, как прогулка по улице.

Юля жила в ветхом дореволюционном двухэтажном доме без канализации, разделенном на несколько коммунальных квартир. Мы сели на балконе, поддерживаемом от обрушения кривыми, ржавыми балками. Я рассказал Юле, что произошло после того, как Валентин выгнал их с Фрицем. Про Патрика в дурдоме и отформатированный компьютер. Юля улыбалась. Она попросила меня не расстраиваться и не впадать в уныние. Она была рада, что я есть у Патрика, ибо переживала за него как подруга. В дурдом она когда-то приезжала, знала, как там хреново. «Мы вытащим оттуда Патрика, всенепрременно», — заверила она меня. Насчет компьютера она тоже попросила не обламываться. Есть, сказала она, программы, при помощи которых можно восстановить данные с отформатированных жестких дисков. Давно я не сталкивался с таким добрым и настроенным на оптимизм человеком. Даже странно, как Патрик с Юлей дружил. Вот я не такой, как Юля, и притом пытаюсь под Патрика подстраиваться, а Юля не пытается, и все равно они друзья.

* * *

Я спросил у Снежаны: знает ли она, что ее дочь необычна? Я был в дурдоме, сказал я ей. Я видел, какие там лежат люди. Разные. Но все больны. Каждый ли психиатр знает, где кончается болезнь и начинается экстраординарность? Не проще ли отвечать на вопросы по заранее заготовленным ответам, которых всего несколько? Сталкивались ли психиатры с таким явлением, как Патрик? Думаю, что нет. А насколько способны они отделить творчество от безумия? Да и входит ли это в их задачи?

Обо всем этом я поговорил со Снежаной. Она как будто была согласна, что Патрик особенный. Нет, она не считала особенным то, что несколько дней назад сожгла на костре. Как и любой матери, ей должна

была льстить лишь сама абстракция, что дочь-де исключительна. Проявления же исключительности ей не льстили ничуть. «Да, у тебя есть способности, но прикладываешь ты их не к тому», — вот как обычно говорят в таких случаях родители детям.

Я не добился от Снежаны ответов на вопросы, которые задавал: наш разговор сам собою оборвался на полуслове. Эта недоговоренность дала мне новую надежду, столь же иллюзорную, как сотни прежних.

Если задать мне вопрос в конспирологическом или в фаталистском ключе, я отвечу «да». Да, я считаю, что судьба надо мной издевалась. Надо было валить в Москву из этого ада.

Пару дней спустя Валентин мне подмигнул. Да так подмигнул, что я всю ночь не спал. Слушал опять кузнечиков. Долго и внимательно. С удивлением обнаружил, что стрекочут они неравномерно. Они все-таки живые создания, а не автоматы. Они поиграют-поиграют — и устанут. Будут играть медленнее, с вальса на сонату перейдут. А кто-то из оркестра вообще играть прекратит. Видимо, женщина пришла.

Так я и не спал. Утром встал раньше всех, зная, что предвидится очень важное. Ни свет ни заря поехали мы с Валентином в психушку. Снежана спала, хотя было девять утра.

«Знаешь, почему она с нами не поехала?» — спросил он.

Я сидел рядом с ним в машине и догадывался, но не говорил.

«Теперь все зависит от нас. Я говорил тебе про силу. Я говорил с ней на ее языке. Теперь мы должны эту силу проявить. Если не проявим — ответственность полностью ляжет на нас. Не на нее».

Не зря ее не было, когда мы жесткие диски форматировали.

«Если ее отпустят, не должно быть ничего. Никаких стрессов, никакого Интернета, наркотиков, резанья рук. Даже алкоголь и сигареты надо исключить».

Я кивал.

Мы въехали на территорию Ковалевки, оставили машину возле покосившегося белого барака и вошли в царство маленьких лысых женщин. Валентин беседовал с психиатром Патрика больше часа. Я ходил между шкафами в коридоре приемного отделения и ждал. Наконец Патрика отпустили.

Это должно было быть прекрасно: сидеть ранним летним утром, дрожа от прохлады, на заднем сиденье машины, мчащейся с огромной скоростью, и обнимать человека, олицетворяющего для тебя самую жизнь, — человека, для спасения которого ты приложил все мыслимые усилия и который был наконец спасен. Я обязан был испытывать счастье. Но я почему-то его не испы-

тывал. Почему-то я знал, что не стоит пускать слюни и восторженно прыгать. Что безосновательно это.

По всей видимости, родителям Патрика было стыдно. Я бы сказал, что это хорошо, если бы это не было так плохо. Не стоит думать, будто людишки не испытывают угрызений совести. Еще как испытывают. Абсолютно все, даже самые тупые. Вот только какой в этом смысл? Я хорошо помню, как в начальной школе жаловался на ребят, которые меня чмырили, учителям. Учителя ловили их и делали внушение: «Не стыдно тебе его бить? Он же маленький! Он же слабее тебя!» И мелким ублюдкам было стыдно. Я видел это. И чем более стыдно им было, тем сильнее они меня чмырили впоследствии.

Снежана с Валентином повезли нас вечером того же дня на «пикник», на другой берег Дона, примерно туда, где мы сидели год назад. Только пива мы не купили (психиатры запретили Патрику пить). И мы сидели с пепси-колой на замусоренном, заросшем бурьяном пляже, двое маленьких, слабых. Патрик начал петь. Он не умел петь и знал это. Он пел песни группы «Сектор Газа». Я подхватил. Я тоже не умел петь и тоже это знал. Мы пели скрипучими голосами и зашли по щиколотку в Дон: так, что подводное говно засосало нашу обувь, а родители смотрели на нас как на абсолютно поехавших.

* * *

В дурдоме психиатры так напичкали Патрика говенными лекарствами, что следующие несколько дней он валялся на диване, словно овощ. В эти суровые дни он более чем когда-либо нуждался в заботе и потому спал со Снежаной, чем меня уязвлял (как-никак Снежана ненавидела его, а он этого не замечал и, вопреки собственной философии, в которой она была Гитлером, искал у нее прибежища). Мы с Валентином в это время смотрели привезенный мною из Москвы диск с мультиками про Бивиса и Баттхеда. Это мой любимый мультфильм: в нем я вижу собственное детство, нас с Саньком. (Чур, Бивис это я: ведомый и всеми чмыримый.)

Не меньше, чем перед телевизором, сидел я перед Патриком на кровати. Тот лежал с опухшим от химии лицом, весь в холодном поту, и спал нездоровым сном, «не дарующим отдыха и сновидений». Иногда Патрик просыпался и просил к нему не приставать. В такие моменты я чувствовал себя большим ублюдком. От всего этого страшно хотелось нажраться.

Я стал пьяницей очень давно. Я стал им задолго до того, как впервые попробовал спиртное. Уже лет в десять фантазия позволила мне представить произ-

видимый им эффект, и я грезил, как божественная амброзия освободит мой мозг от разрушительных мыслей. Я искал ее, но в то же время и страшился. Перед глазами моими стоял отец, страшный алконавт. Я очень боялся стать им или кем-то еще хуже. В школе меня учили, что бухло — это зло, наркотики — это зло. Под влиянием этих проповедей я впал в другую крайность: стал избегать своего друга Санька и его тусовку, где пили и принимали наркотики. И что в итоге? Ни Санек, ни кореша его алкоголиками не стали. И наркоманом не стал никто. Да, они пьют пиво по пятницам, даже и водку, покуривают мягкий, при случае угощаются и спидами, и грибами и индейскими травами. Все повзрослели, создали семьи, родили детей, приобрели вес в обществе. А я, чуравшийся их, сижу по уши в говне, один, никому не нужный, и бухаю по-черному. Каждая страница тут — это выпитая бутылка пива, или кружка медовухи, или стакан вина, или рюмка водки.

Решил я купить на завалившуюся в кармане мелочь пивчанского и пойти с ней за советом к Мыслящей Луже. Мелочи хватило лишь на пол-литра низкосортного эндемика под названием «Дон». С ним я отправился в заброшенный цех, где произошел у нас с неантропоморфным разумом долгий и тяжелый диалог.

«Ну ты только представь себе это, — говорила Мыслящая Лужа, — вот Патрик оправится от лекарств, захочет написать о случившемся в дневнике или просто посмотреть, что за прошедшие дни в Интернете появилось. Включит он компьютер — и что?»

«И пойдет дым, — сказал я. — Посыплются искры. Патрик очень испугается, потом в отчаяние впадет».

«Впадет, — булькнула пузырями Лужа. — А тебе придется удивиться. Придется проклинать энергетиков. Поддакивать вероломным родителям. И всю оставшуюся жизнь лгать, лгать, лгать. Ты готов на это? Готов такой крест на себя взвалить? Не отвечай мне. Ответ себе самому. Только честно».

Я ответил.

* * *

Пиво я тогда не допил, уж больно у него качество хромало. Где-то полбутылки с отвращением проглотил, а остальное заткнул пробкой и в холодильник на черный день спрятал. От пойки заболела голова: я лежал, пытаюсь заснуть, и по традиции слушал кузнечиков. И чего они так радостно разорались? Вот прискачет на их рулады баба и отгрызет им башку.

Черный день настал назавтра. К Патрику стали возвращаться силы: он оделся и согласился вечером выйти со мной на прогулку. Потянулся было к компьютеру, но я попросил пока его не включать. Тот не понимал,

что происходит, куда делись его вещи, откуда взялся сейф, почему все такие добрые и зовут на море, и он мне верил, послушался меня. Вечером я взял недопитую бутылку «Дона», и вместе мы отправились к Мыслящей Луже. Там я рассказал Патрику, что произошло. Мыслящая Лужа предостерегающе булькала, со дна ее поднималась тина и расплывалась на поверхности пугающими образами, страшными рожами, ядерными грибами. Она хотела сказать, что я тороплюсь, что Патрик не готов к восприятию той ужасной информации, что я ему приготовил, но я, как обычно, не прислушивался к чужим советам, считая, что какая-то там Лужа не может знать жизнь лучше меня. А Луже-то было известно, что Патрик не делал back up'ов, и она понимала, в какое он пришел смятение, узнав, что дела, которым он посвятил жизнь, безвозвратно погибли.

Мне он смятения не показал, и я взял с него обещание не говорить о компьютере с родителями. Тогда, возможно, нам удастся тайком его «разминировать» и восстановить хотя бы часть информации при помощи спецпрограмм. Я писал уже, что разговаривал с ним как с парнем и все его поступки оценивал именно как реакции парня. Я писал об этом, однако примеров не приводил. И вот, пожалуйста: самый вопиющий пример.

Мы мирно дошли до дома, и там-то с Патриком снова случилось страшное, еще страшнее, чем полторы недели назад, когда его забирали в психбольницу. Он высказал родителям все, что о них думает, а подумывать про них можно было много. Наверное, Валентин и тут принялся бы его бить, но он чувствовал себя виновным в трагедии и просто вышел из комнаты, сжав свои огромные кулаки. Я вышел за ним, ибо понял, что все рухнуло и терпеть происходящее больше не имело смысла. Наверное, зря я вышел. Или нет? Думаю, нет. Думаю, в комнате было бы еще хуже.

Валентин сидел перед столиком. Я сел перед ним, и он на меня посмотрел. Он смотрел долго. С большей ненавистью на меня не смотрел никто и никогда. Я чувствовал, что еще чуть-чуть — и кулак орангутанга врежется в мою голову, заставит ее треснуть, и на сильные пальцы наматываются мои волосы, и он будет бить меня о бетонную дорожку, пока череп не расколется и мозги не вытекут.

Он не был психом. Именно потому он смог удержаться. Он только спросил: «Зачем ты это сделал?» — «Я не мог врать». — «А что такое ответственность, ты знаешь? Если она теперь с собой покончит, ты за это ответишь?» Я промолчал, и он, помедлив, сказал: «Иди *туда*. Утешай. Сделай хоть что-то полезное в своей жизни».

Вот так и получилось, что я выдернул из карточного домика лжи одну карту и прогорел. Немало взбесили

родителей и те двести пятьдесят граммов пива, которые мы с Патриком выпили пополам, разговаривая на заброшенном заводе.

Удивительно, но, несмотря на бешенство, они были рады.

Они сказали привести компьютер Патрика в порядок, а на следующий день уматывать. И я умотал. Снежана закрыла за мной калитку и сказала «прощай» со всем холодом, презрением, ненавистью, злобой, отвращением, гадливостью, сарказмом и насмешкой, на какие только была способна. И однако я ей не поверил. Я видел, что она счастлива. Совесть больше не мучила ее, как не мучила она тех пидорасов, что чмырили меня еще сильнее после внушения учителей. Теперь они с Валентином хорошо знали, почему ее дочь принимает наркотики, хочет покончить с собой, дружит с сомнительными людьми. Они поняли, из-за чего она называет свою мать Гитлером, из-за чего пришлось им прибегнуть к изуверской терапии, уничтожить ее вещи. Вот кто в этом виноват, оказывается.

За что они повесили на меня эти грехи? Разве у меня мало своих? Разве я недостаточно страдаю? Видимо, нет.

Я шел по разбитым ростовским улицам, смеясь от счастья. Ад закончился. Я сел на автобус до вокзала, открыл форточку, ветер развеивал мои волосы. Я тоже был счастлив, не меньше, чем родители Патрика.

Ад закончился.

ЭПИЛОГ

В Москве я первым делом устроился на работу, чтобы скопить денег и снять нам с Патриком угол. Работа была курьерская, длилась чертовски долго. Патрик не верил, что после всего случившегося у нас может что-то получиться. Понятно, я на это злился. Он верил в судьбу, а я нет. Я не мог себя убедить, будто мне предначертано умереть одному и в говне.

Вбили дополнительный клин между нами и чернушные новеллки, в которых я заигрывал с безумием. «День пограничника», «Пламя улиц», «Мост к Венере» и прочий порожняк, который и вспоминать неохота. При написании их приходилось становиться на скользкую дорожку. Ничего хорошего скверные новеллки мне не принесли, кроме одобрения духовно богатых юношей с филфака, любивших юродство. Куда больше было от этой графомании вреда. Во многом она-то и ускорила окончательный разлад с Патриком. Слишком уж явно спланировал я у него основные сюжетные ходы, эстетику и художественные образы. Да и не только. Во всех моих скверных новеллках одним из главных героев была девушка, очень похожая на Па-

трика, но почему-то всегда развратная и с претензией на мудрость. Патрик не был развратным и с претензией на мудрость, но думал, что я вижу его как раз таким, как в своих скверных новеллках. «А кто еще там, как не я? — спрашивал он меня. — Ты ж никого, кроме меня, не знаешь». Я обижался.

Я работал как мог, но вскоре все надоело. Силы иссякли вместе с уходом смысла. Случилось это 13 августа 2008 года. Я хорошо помню этот день, ибо это один из худших дней в моей жизни. Я ездил по городу на редкость долго, ничего не соображал от усталости, получал от Патрика на редкость возмутительные известия, а день все не кончался и не кончался. Когда настал час ночи, я решил, что этот проклятый день наконец кончился, и сел в один из последних автобусов до своего района. Тут мне позвонил человек, которому я из своего раздолбайства не занес один заказ. В заказе этом значилось лекарство, а назавтра ему (заказчику) должны были делать с использованием этого лекарства операцию. Я сказал, что занесу эти лекарства завтра с утра. Так что 13 августа не закончилось и завтра, когда я встал в пять утра, чтобы лекарства были у пациента. Завеза их, я поехал в офис и уволился. Тогда-то и настало 14 августа: один из лучших дней в моей жизни.

Я купил водки, позвонил тому парню, которого называю Игрушкой Богов, встретился с ним в прекрасном районе Чертаново, познакомился с его друзьями, душевными и веселыми парнями и девчонками, молодыми душой. Практически со всеми ними мои отношения в тот день навсегда испортились, ибо я нажрался водки как никогда, и они избегали отвечать на мои попытки продолжить знакомство, даже в Интернете.

Славно погуляли мы тогда. Патрику бы понравилась наша прогулка. Мы шлялись под высоким московским небом, среди чертановских высоток, раскаленного асфальта, урбанистической красоты. Кругом кипела жизнь, а внутри меня все обрывалось: я совершал маленькое самоубийство. Каждая моя пьянка — это маленькое самоубийство, уничтожение части себя, не дающей мне покоя: глупой мечты, бессмысленного стремления, напрасной просьбы, не находящего отклика откровения, мечущегося в поисках несуществующего выхода чувства или мешающего жить убеждения. Для самоубийства большого я был слишком труслив, потому и ломал веник по пруту, уничтожал постепенно все, что запрещало поверить в судьбу и проклятье.

Наутро я проснулся в роскошном доме своего товарища Игрушки Богов. В каких эмпиреях живут иные люди и в каком говне прозябаю я. Видимо, мой товарищ услышал эту мою мысль в наших, казалось бы, безмятежных разговорах, и тоже с той поры огра-

ничил общение со мной до минимума. Я на него не сержусь. Я сержусь только на две категории людей: которые обещали что-то и не выполнили, и на тех, кто сделал мне ни с того ни с сего зло.

Так или иначе, погуляли мы славно, «и я буду нести это воспоминание так бережно, словно в моих руках чаша, до краев наполненная парным молоком».

* * *

Несколько месяцев мы с Патриком переписывались в Интернете. Я так и не понял, каким он хочет меня видеть, он так и не понял, кто я такой. Я был в отчаянии от этого непонимания и оттого, что мне не могут сделать шаг навстречу; раздражительность моя росла, словно в рассказе Шекли «Академия». Я ненавидел все свое окружение — и не только. Весь мир, все человечество, всю вселенную ненавидел. Писал об этом Патрику, поскольку думал, будто ему это близко. В десятый раз повторю: я абсолютно его не понимал. Под конец Патрик стал писать, что я маньяк и он меня боится. Это был очередной поворотный момент в моей судьбе, и я не мог сделать правильный ход. Я очень ему нагрубил, сказал, что он баба.

Как такое могло случиться, я и сам долго не мог осмыслить. Лишь теперь начинаю потихоньку вдупляться. Людишки ведь ни капли друг друга не понимают. Ну правда. Я говорил, что не могу припомнить ни единого случая, когда б удалось что-то человеку объяснить. Под словом «объяснить» я разумею следующую ситуацию: человек придерживался одной точки зрения, а после разговора со мной стал бы считать по-другому. Такого нет. Есть лишь иллюзия переубеждения. Она в двух случаях возникает. Первое: когда человек с тобой в принципе согласен или хотя бы придерживается тех же мыслей, что и ты, и, услышав твои слова, делает вывод, к которому давно шел, ну или просто слышит от тебя подтверждение его собственных мыслей. Второе: ты говоришь о вопросе, который человеку безразличен, и он с тобой соглашается ровно до тех пор, пока данный вопрос лично его не коснется и у него не сформируется на данную проблему собственной точки зрения. В остальных же ситуациях людишки признают чужую правоту, лишь чтобы от них поскорее отстали.

Как вообще можно понять человека? Мне плохо это представляется. Вот ты любишь футбол. А он энтомолог-любитель. И тебе надо представить, как это может быть интересно: не гонять толпой мячик по поляне, а считать, сколько сегментов на брюхе у таракана и как он яйца откладывает. Нет, я уверен, что того же энто-

молога-любителя можно в чем-то уличить, найти миллионы способов его унижить, использовать, надавать на него, причем уже после первого знакомства. А вот чтоб понять, нужно кое-что еще. Нужно *отречься от себя*. Забыть про свой футбол и погрузиться в энтомологию (или наоборот: пожертвовать энтомологией во имя футбола). Из семи миллиардов человечешек так могут лишь избранные: кто обладает высокой культурой мышления и добрым сердцем. К сожалению, я точно знаю, что Патрик был именно тем человеком, который мог бы меня понять. Он много кого мог понять, потому-то я и считал его гениальным писателем. А вот я не смог даже прикинуться, будто понимаю его.

Хочу сказать, что в момент нашей ссоры никакого глобального понимания и не требовалось. Нужно было лишь проявить минимум внимания к чужим словам. Но между нами, помимо прочего, стояла тысяча километров и суррогатное общение по имени «Интернет». Говори мы вживую, недопонимание распалось бы за минуту-другую. Он не желал меня оскорбить, унижить, причинить боль. Он сам запутался и отчаялся. А я, вместо того чтобы услышать и поддержать, толкнул по направлению бездны. Непонимание росло и росло, как лавина, и сработал кумулятивный эффект.

В школе мне внушали сентенцию: мужчина должен обладать выдержкой. Понятно, я ненавидел эту мысль, как и все школьное. «Кому должен?» — спрашивал я. Теперь знаю: себе. *Себе* должен быть выдержанным, чтобы не умереть в говне и одиночестве. И еще женщине своей должен, коль скоро ты ее уважаешь и любишь. Она может вести себя плохо — а ты нет. Почему? Да потому, что эта сучья жизнь так устроена. От мужика требуется чуточку больше, чем от женщины. Я до последнего пытался не признавать этих сучьих законов, думая, будто если я их отрицаю, то их и нет в природе. Но законы жизни сами залезли ко мне под одеяло и напомнили о своем существовании.

Что ж, не тогда, так в другой раз. Наверное, оно и к лучшему. На что мог рассчитывать Патрик со мной? На комнату в клопном общежитии или засранной коммуналке? (На съем полноценной квартиры я ведь никогда не заработаю.) Всю жизнь питаться химической лапшой, работать на побегушках, таскаться на работу за тридевять земель на метро и автобусах? И это — при наилучшем раскладе, не таком уж и вероятном. Скорее всего, мы бы опять жили на помойке. Гнездо, которое я пытался свить для нас, висело на ветках Анчара, и пронизательный, мудрый Патрик прекрасно это видел. Не тот я человек, чтобы девушки за мной на ядовитое дерево лезли, святой Петр гарантирует это.

Окончание следует.